

секретная книжка



- ( 1 )      Все мечтают о просветлении; мало кто знает,  
                 что с ним делать и как жить потом дальше.

Реальность подлинного мира так неожиданна,  
                 что очень хочется всё вернуть назад.  
Увы, отменить просветление невозможно.

И хотя мой опыт специфичен — я перенес просветление,  
                 будучи персонажем секретной книжки, однако  
                 у той книжки, в которой я был персонажем, и этой,  
                 много общего. Тутушные персонажи, как заводные,  
                 упражняются в искусстве рассказывать свои сны  
                 о подлинном мире. Все ваши сны, дорогие мои,  
                 неполны и неточны. Вам не приходит в голову мысль,  
                 что вы смотрите на одну вещь, но с разных сторон,  
                 что вы все — всегда — пишете одну книжку,  
                 но людей много, а секретная книжка только одна.

Многое из того, что я знаю о секретной книжке,  
                 и что я сейчас расскажу, способно лишить сна.

Потому что все мечтают о просветлении, но свет озаряет не то, что мы ждали увидеть: в обнаженной тьме зримо многое, что всякий бы предпочел не зреть. А сам свет, когда смотришь на него изнутри, реален. Как жить без идеала? Если всё, что у тебя есть, столь заурядно, и всегда только начало пути, на котором нет ориентиров и оправданий. Если больше нет времени и последовательности, кроме той, которую изобретаем мы сами.

У света нет ни времени, ни массы: он ничего не весит, он ничто в этом мире. Он реален только для тебя, и чем больше света, тем нереальнее ты для мира. О нем ничего не скажешь, разве что то, что я сказал. И поймут лишь те, кто пережил просветление, столь же беспомощные и обескураженные.

Но я научился с этим жить, и дополнительная цель моего повествования заключается в том, чтобы поделиться опытом: как перенести просветление, сохранив человеческий облик, веру, надежду, любовь; вернуться к повседневному существованию и в конечном счете остаться собой.

Впрочем, обо всем по порядку.

( 2 )      Это случилось со мной, — вернее начало происходить, ибо процесс занял, по скромным подсчетам, сотни триллионов лет, — когда я уже был персонажем той книжки, в которой мы персонажи сейчас. Дело было года три назад.

Сорокет у меня был печальный, я никому не пожелаю. Мой первый друг умер, второй заболела. И, вроде бы, можно было помочь, но как. Очень много денег, лучшие клиники — такой случай, что не факт, да и где ж их взять, много денег. А первому другу я не помог, хотя мог бы. Слишком поздно понял, что к чему. Я купил бутылку коньяка, две пачки сигарет и поехал в Тарусу. Возможно, думал я, я совершил какие-то жуткие ошибки и сам того не заметил. Прошел мимо чего-то. Не увидел последствий случайных действий. Самое страшное — когда не можешь помочь или не помог, хотя мог бы. В такие дни хочется умереть от разрыва сердца, а оно не разрывается. Чувство бессмысленности и безысходности: как хотелось бы всё отменить, не родиться или исчезнуть бесследно.

Я пошел по берегу к даче Рихтера. Прекрасные берега,  
прекрасная река: здесь прошла лучшая часть  
моего детства. Но словно бы я их не видел.

Я поднялся на горку, свалил несколько сухих сосенок,  
сложил костер и, сев на бревно, прислонился к стволу.  
Запрокинул лицо и смотрел в небо, пока не стемнело.

Ночь была безоблачна. Звезды, как миллионы лет назад,  
без интереса смотрели на землю. Зачем всё это,  
если жизнь так чудовищна. Зачем мы мучаемся,  
теряя самое дорогое. Если радости столь хрупки,  
а горе столь безмерно. Мучаемся и мучим других.  
Огонь догорел, я заснул.

- ( 3 ) Я проснулся от холода, но холод тоже был сном: мне снилось, что я персонаж секретной книжки, и есть только секретная книжка, а мира больше нет.

Видимо, я некрепко спал, потому что я мог что-то помнить про мир — из той жизни, которую, если она и была, я как раз в этот момент терял. Мне не хотелось просыпаться из этого сна, но я проснулся опять. Однако я опять проснулся не там, причем на этот раз уже не помнил: ни про себя, ни про секретную книжку, ни про то, что я сплю: я был дрожью паутинки на ветру, которая не умеет помнить. Но тут я проснулся опять. На этот раз я был формой, у которой нет восприятия и сознания.

Я был гусеницей, это да. Морским ежом, и не раз: когда одним морским ежом, а когда — целым рядом морских ежей одновременно. Прозябанием лозы. Ознобом мусорной урны в публичном парке утром по весне. Доводилось также бывать пасечником и ульем пчел. Однако сам я, лично, предпочитал быть шмелями — целым роем шмелей без пасечника. В сущности, у меня никогда не было выбора: я либо

был шмелями, либо не был. Но мне так больше нравилось: когда ты все шмели вместе и каждый отдельно, и жужжишь.

Вдруг оказалось, что я всегда был кем-то другим, а всё то время, пока мне так не казалось, я спал. Реальность одного сна не отличалась от прочих: все они были нереальны и произвольны.

Всякий раз, когда я засыпал, если я успевал заснуть до пробуждения, я был собой, а когда просыпался — кем-то другим. Иногда, проснувшись, я ничего не помнил, кроме тех фальшивых (или наоборот — подлинно реальных, как знать) воспоминаний, которые должны были у меня быть в том сне. Иногда помнил всё.

Я был гусеницей, носорогом, каплей смолы; ветром и полночью; персонажем секретной книжки; я был собой и не собой; я был и не был; я был ничем и чем; я не был не я и я; и всё это было как дурной сон и как недурной; как сон и как не сон.

Всякий раз, когда я просыпался, я был кем-то другим. Но я не успевал запомнить того, кто проснулся, и сосчитать пробужденных.

Бывало, проснусь, а не понимаю: из которого сна?

( 4 ) Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка,  
которой приснилось, что она Чжуан Чжоу.

А у меня был триллион бабочек: каждой снилось,  
что она я, Чжуан Чжоу и все прочие  
бабочки и небабочки; и, когда они засыпали,  
они тоже видели триллион бабочек и небабочек,  
которым снилось, что они бабочки и небабочки,  
Чжуан Чжоу и я; и не было предела этому и конца.

Бывало, проснусь, вспоминая былые сны,  
и осторожно смотрю вокруг.

Похоже, думаю, в этом сне я когда-то просыпался.  
Кто я, где я, почему именно я.

Как я дошел до жизни такой, что просыпаюсь  
бох весть где, бох весть кем, бох весть зачем.

Зачем персонажу знать, в какой книжке он персонаж,  
что написано на титульном листе,  
какая бабочка села на корешок.

Зачем такое просветление, которое невозможно понять,  
которое больше любой попытки. Зачем, за что.

Одно меня теперь может спасти, подумал я как-то раз,  
если я вспомню, что было на самом деле  
до того, как я впервые заснул.

И я потратил триллионы лет — как минимум — на то,  
чтобы установить, что было в начале.

Но в том сне, в котором я спал, не было времени,  
а следовательно не было причин и следствий;  
всё было запутано и переплетено — я тянул за нить,  
ковёр рассыпáлся, и я опять оставался ни с чем.

И я блуждал по этому бесконечному сну вдоль и поперек;  
я засыпал и просыпался, просыпался и засыпал;  
и каждое пробуждение было похоже на сон...

( 5 )      Нужно во что-то верить, думал я, когда мог помнить. Но я постоянно просыпался бабочками и жуками, у которых нет пророков. Каплей росы на лозе, прозябанием урны в весеннем парке, числом  $\pi$  и катетом и гипотенузой в абстрактном пространстве мышления второгодника. Во что я мог верить, находясь в этом состоянии и ничего не помня о других? Когда я был числом  $\pi$ , я хотел измениться, перестать быть собой, стать более рациональным, — и я ничего не мог с собой сделать, зажатый в рамки необходимости. Во что я мог верить, когда я помнил? Я был всеми и никем: поскольку, будучи каждым что, я был ничто, пустотой во втулке колеса.

Я перестал быть собой и увидел секретную книжку отовсюду и изнутри. И всё, что не было мной, увидело меня. С физической точки зрения мы стали одной системой. Но “система” не мыслит. Это хаос и набор произвольных точек. Это ужас бытия: черновик секретной книжки, но не секретная книжка.

Когда я был роем шмелей, я ощущал себя каждым шмелем одновременно. Я был? Меня не было. Затем — дрожью

осенней паутинки на ветру. Это было реальностью.  
Наверное, любимой — потому что я постоянно  
возвращался к этой форме, словно бы желая понять.  
Что, однако, не было моим осознанным выбором.  
Но что может понимать дрожь? Состояние предмета,  
у которого нет сознания? Тем не менее, это чувство  
по-прежнему дорого для меня — оно одно из самых  
любимых мной воспоминаний, основное.

Быть может, то было первой спасительной мыслью,  
потому что размышляя о том, что я люблю,  
я понял, что все-таки у меня что-то есть.  
Но что, если я то и дело всё забываю?..

И тогда я не выдержал и решил написать мемуары.  
Потом я опять заснул, но странное дело —  
начало мемуаров запомнил.

Прошло неисчислимое множество триллионов лет —  
я считаю лишь те, когда я был вменяем, —  
прежде чем я смог мои мемуары закончить.

Давеча я перевел их с древнеисландского,  
и вы их сейчас читаете.

( 6 ) В моих мемуарах был один сюжет: хаос и безумие.  
И никакого смысла, сколько я ни пытался найти.  
Триллионы лет я писал мои мемуары,  
а потом триллионы лет их читал, но это ни на шаг  
не приближало меня к пониманию того,  
что со мной произошло. Пока меня не озарило:  
если я не вижу сюжета, надо его придумать.  
Мир не существует, пока не создан, вот в чем штука.  
А пока мира нету, его невозможно понять.

Итак, в триллионах триллионов моих пробуждений  
я должен был найти единую последовательность,  
во всех сюжетах всех возможных книг — одну канву;  
увидеть реальность и положить бессмысленному  
просветлению конец. Понять принцип бесконечности  
и найти в хаосе смысл. Это было невозможно  
физически — нельзя рассчитать беспредельное, если  
твоя считалка, к тому же, то и дело выходит из строя.  
Но это было возможно теоретически —  
путем качественного духовного поворота.

Штука в том, что эпизоды, в которых я, как и все другие  
живые существа мультиверса, был персонажем,

были бесконечны. Однако число элементов, их особенностей, было ограниченным. У логической структуры мира был предел: могло быть только то, что могло быть, а то, что не могло, не могло. Следовательно, что-то должно было рано или поздно повторяться. Можно было выявить структурный принцип, открыть общий закон всего.

Забегая вперед скажу, что он оказался намного проще, чем я мог предположить. Чтобы смысл просветления был понятен, однако, мне придется вкратце изложить событийную канву — рассказать life story гипотетического всесущества мультIVERса. Я предпочел бы этого не делать, но из песни слова не выкинешь. И хотя мое просветление валидно и релевантно только в отношении секретной книжки, в которой я был тогда персонажем, я бы не стал сотрясать воздух пустыми словесами, если бы не был убежден, что по-прежнему остаюсь им, и более того — что все, кого я знаю и не знаю, тоже ее персонажи, только на самом деле они совсем другие люди, а иногда животные.

Как мне кажется, я нашел хороший способ конвертации. Поэтому я ее перевожу.

(7) Пока я, правда, не очень понимаю, как относится к целому тот фрагмент, в котором я перевожу мои мемуары с древнеисландского. (В городе, где я жил, мемуары писали в основном на этом языке.) В данной книжке, несекретной, где я перевожу, персонажи часто видят сны о секретной. В подлинном мире этот фрагмент, насколько я в курсе, мало кому снился. Гамлет, в частности, ничего не рассказывал мне о Шекспире. Этот фрагмент, однако, напоминает отдельные главы повествования, у них много общего. Он безусловно бедней, мне многого в нем не хватает, но в целом я не вижу принципиальных отличий. Возможно, этот росток Мирового Древа пророс на забытой Богом несолнечной стороне, но до сих пор скрыт листвой от взоров других персонажей. И нас ждет либо общее печальное будущее, либо отдельная, еще ненаписанная глава.

Я постараюсь не заснуть, пока не пойму.

- ( 8 ) Тому, кто не был роем шмелей, дрожью паутины и персонажем секретной книжки, сложно уразуметь, что секретная книжка — единственная и подлинная реальность.

Но между мыслимыми книжками так много сходства, что нельзя сказать, валидны ли различия.

Законы одной, однако, по большей части релевантны для другой. Можно воспринимать ее как карту реальности, но кто из нас отражение и метафора — как мне кажется, я знаю точный ответ, но я пока не скажу.

Работающая модель космоса является космосом.

Работающая модель мультиверса — мультиверсом.

Модель секретной книжки — секретной книжкой.

Все перспективы, в конечном счете, сходятся.

Вопрос только в степени участия персонажей в сюжетной линии и, по большому счету, в их способности осознать участие, способности увидеть свое подлинное место в сюжетной канве секретной книжки, и не отвести глаза.

( 9 ) Тот, кто был шмелями, никогда не забудет о том,  
жужжа и не жужжа, что реальность as is — это ничто.  
Пустой лист бумаги, на котором мы пишем слова,  
и реальны слова, а не пустота.

Но иногда, чтобы понять, что такое что, нужно понять,  
что такое ничто; чтобы увидеть отражение —  
увидеть зеркало, и не потеряться в нем,  
чтобы разглядеть отражение.

Пустая бумага больше не пуста, она теперь реальна.  
Часть общей системы, в которой всё соотнесено.  
Слова многое объясняют, правда имеет значение.  
Две условности пересеклись, настоящее произошло.  
И всё, что на ней написано, останется навсегда,  
пока есть те, кто любит и помнит.

Примерно так, насколько я могу об этом судить,  
работает механизм света и секретной книжки.

АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ

**СЕКРЕТНАЯ КНИЖКА,  
ИЛИ  
ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА О ТОМ,  
ЧТО ТВОРИТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ**

(Андрей Чевакинский — мое имя в подлинном мире.)

( 1 )      Как-то раз проснулся, а земля безвидна и пуста,  
над землей Дух Божий и вода, а сам я кислота.

Кислота и вся моя родня. Но кто кому родня и почему,  
и какая кислота, ДНК ли РНК, — это непостижимо,  
ибо отсутствуют органы, способные к постижению.  
Вот почему мои первые мутации и репликации  
не оставили в моей памяти почти никакого следа.

Лишь смутное чувство существования, как сон о сне, —  
где-то в глубинах, у самого дна.

Но если бы я заснул, а проснулся кем-то другим,  
то даже бы не заметил этого.

Существование в чистом виде, без примеси чего-то еще,  
оно было у меня, но как будто его и не было.

Как же глубока простая мысль, что настоящая жизнь —  
в способности чувствовать, помнить и понимать;  
верить, надеяться и любить.

( 2 )      Солнце всходило и заходило. Шли годы. Века.  
Миллионы, десятки, сотни миллионов лет...  
Потихоньку умутировал я в простого амёба.

В этом месте мне хотелось бы также упомянуть  
тех моих недалеких близких и родных,  
которые стали водорослями,  
и так водорослями и остались.

Кто-то из них, зацепившись корнями, уполз на сушу —  
шуршать стеблями, шелестеть листьями.  
И именно из них произошел потом  
древесный люд (лешие, энты и т. д.).

Но странное дело: мы провели вместе хренову тучу сотен  
миллионов лет, а я ничего не могу о них вспомнить.  
Я не помню их лиц. Оттого, что у них не было лиц?  
Или потому, что мне нечем их было запомнить?..

Тем не менее, я всегда сознавал наше родство,  
и много позже, когда, будучи уже рыбой,  
я был вынужден питаться ими,  
испытывал крайне смешанные чувства...

( 3 ) Ко времени, когда я был рыбой, относятся мои первые яркие воспоминания. Языка у нас, конечно, не было, но несложная система знаков позволяла выражать наши нехитрые чувства, а также считать до четырех. Один знакомый краб, впрочем, умел считать до пяти, а дядя Петя, который был сомом, до шести.

Как-то раз, высунув морду наверх, я увидел, что на ветке, прямо у берега, сидит очень красивая птица. Мне страстно захотелось показать ей, что у меня вызывают восхищение такие существа, как она; и стремительно выскочив из воды я пошире развел плавники и обдал ее фонтаном брызг из жабр. Птица сделала вид, что не поняла, и о чем-то задумалась.

Штука в том, что некоторые были птицами. Наши пути редко идут параллельно. Кроме того, некоторые ходят кругами или наоборот напрямик — как знать. Если она и была рыбой, то когда-то очень давно. Вряд ли бы она могла меня понять. Возможно, моя жизнь была для нее тьмой — чем-то холодным, мокрым и совершенно непригодным для жизни.

Так что не только мутация двигала мной, когда я впервые  
попробовал выползти на сушу. Не желание жрать  
и не стремление к репликации — я был тогда,  
в сущности, весьма юн. Но любовь и тоска о той,  
которая была так близка и так недостижима...

( 4 )

Со стыдом, впрочем, вспоминаю я период отрочества, когда я был рептилией. Боже, как же омерзителен я был тогда!.. Куда страшней то, однако, чем я тогда занимался; и не меньше для меня печали, что существенная часть моей ЦНС, и вообще головного мозга, сформировалась в ту пору, и по сей день подчас я веду себя как псевдозухий... Знаю — грех неизбежен. Блаженны те, кто согрешает только слегка, и чьи преступления не имеют последствий. Не всем, увы, дано.

Но стыд и раскаяние в том, что ты натворил, сознание, что ты совсем не это, что ты лучше, двинули мою эволюцию дальше. Потихоньку я стал нормальной зверушкой. Еще не приматом, но уже не крокодилом. Чем-то вроде кошки или собаки — полукоалой, получебурашкой.

Я впервые поднял глаза к небу и начал задумываться о смысле жизни, о космосе, о моем месте в нем... Кто меня из мрака вызвал и, главное, зачем? вопрошал я небо ночи напролет, задрав мордочку к звездам, рискуя стать добычей мимопролетающей

или пробегающей рептилии. Много их сновало  
вокруг и — любопытный момент — мы были теперь  
не столько теми, кто ест, сколько теми, кого жрут.

Что способствует, безусловно, более созерцательному  
отношению к бытию. Чтобы спастись,  
я стремительно уползал на пальму.

( 5 ) Однажды я сидел на пальме, а внизу жадно рыскали штук десять или пятнадцать крокодилов. Я подумал: а так ли мне хочется вниз? И примерно тогда стал приматом, и больше почти не менялся.

Поскольку мои приятели жили на кокосовой пальме, родственники — на банановой, а я на финиковой, картина мира обезьяньего народа утратила когерентность. Тем не менее, это не мешало нам понимать друг друга. Истина, известная всем живым существам кроме отдельных приматов-гоминидов: наши различия несущественны. Они объясняются естественными причинами, они важны — для развития, для эволюции. Мы всегда должны стремиться к диалогу, ибо пальмы и их плоды — условность и декорация, не более того.

Тем более что потом, в силу целого ряда обстоятельств, я был вынужден мигрировать с финиковой пальмы на кокосовую. Тогда же произошло важное событие, на котором мне хотелось бы остановиться особо.

Я сорвал с ветки кокос и задал простой вопрос: что дальше. Допустим, его можно съесть; но как?

Предположим, кокос можно расколоть; но чем?  
Ничто на этой пальме не могло бы мне дать ответ.

И тут меня как будто озарило. Внезапно углядев внизу  
челюсть дохлого крокодила, и ухватившись за хрящ,  
я со всей дури долбанул клыком по скорлупе.

Кокос раскололся! И хотя челюсть разбилась тоже,  
я понял принцип. Чтобы решить проблему,  
нужно найти подходящую челюсть крокодила.

И, если она не существует, надо ее создать.

( 6 ) Вскоре мои наития пригодились — к нам пришла свобода. Свобода от рутины, от естественного порядка бытия, от среды обитания: все наши пальмы погибли. Так мы стали гоминидами.

То, что было случайным, — инструменты, общение, — стало нашим последним способом выживания, спасения близких и себя.

Каждый божий день приходилось что-нибудь изобретать, мучительно искать варианты, когда нет вариантов. В сущности, теперь средой обитания была эта способность — позже ее назовут культурой; тогда же, по существу, началась Секретная Книжка. А еще в подкорке засела проклятая мысль — что где-то был рай, который мы утратили, что ничего не стоит вернуться назад... Что нужно только придумать новую рутину... И всегда тут как тут были те, кто это обещал: вожди.

Впрочем, это было уже во времена моей юности, когда племена наши расселились в берлогах по крутым тобским берегам.

(7) Вечерами мы обычно охотились на мамонтов;  
по утрам же мы обгладывали их кости.

Я не склонен, впрочем, идеализировать каменный век, ибо мы ели не только мамонтов. Наша жизнь была борьбой за нативную племенную территорию — с австралопитеками, питекантропами, а после неандертальцами. Иногда ели также друг друга: будучи как бы одним целым мы — одна часть другую, самих себя. Само собой, то было по необходимости, и конечно же мы предпочитали есть другие племена.

Вожди говорили, что территория и племя превыше всего, что мы ведем борьбу за жизненное пространство, к тому же это наши исконные полянки и опушки, как доподлинно известно из фольклора: сказок и пр. Соседнее племя — обезумевшие родственники — этого не понимает. Богоугодна борьба за правое дело, а кроме того приносит еду: если не мы их, то они нас.

Во многом они, конечно, и сами были не правы, но, простой примитивный человек, я над их трупами не плясал никогда, ибо уже тогда понимал, что мы принадлежим миру, а не отдельной его части,

и потому нам самим, по большому счету,  
ничего не принадлежит. Но поскольку то были  
слишком сложные слова для моего первобытного  
сознания, я не мог не испытывать чувства вины  
за свое сострадание к побежденным:  
я ощущал себя предателем друзей и родных...

Но ничего не мог с собою поделать. Ведь всякий раз,  
когда соплеменники занимались каннибализмом,  
они вызывали во мне отвращение. И вообще,  
не прошло и сотни тысяч лет, и я уже не жрал  
не только братьев-приматов, но также мамонтов,  
слонов, ослов, бегемотов; и змей и ящериц;  
и птиц, и рыб, и насекомых... Тяжко порой  
приходилось веганцам в первобытную эпоху.  
Но я понял, как я был прав, когда мой друг Лёха  
научил меня понимать их язык.

Если бы я мог тогда найти хорошие слова, то сказал бы,  
что чувство сопричастности к существу не оставляет  
места для шовинизма не только племени,  
но и расы, вида, культуры. Но лишь это чувство,  
будучи осознанным, отличает настоящего гоминида  
от остальной природы.

Само собой, в этом тоже есть какой-то шовинизм;  
но мне он представляется более простительным.

( 8 )

Хотя материальная культура была не на высоте, зато всё у нас было хорошо с духовной. Наши боги жили за оврагом, в овраге же водились черти. Знавал я тех и других; но что касается личного общения, то бухать я, как приучился, предпочитал с лешим Лёхой из соседнего леса, а водился преимущественно с девчонками-полудницами и с водяницами, а также с некоторыми русалками, которые из реки. Не все боги были безопасны; надо было знать подход.

Я не застал палеоботанику; но мой друг леший Лёха, который родом был из древесного люда, любил рассказывать лунными вечерами, при свете звезд, о забытых временах птеродактилей и тираннозавров.

Многие рептилии, по его словам, были так огромны, что могли притягивать жертв чисто своим весом. За ужином чета тираннозавров могла запросто уписать небольшое стадо гиппопотамов. Но нечто более крупное унесло их туда, где нет времени.

Те же из них, которые помельче, по мнению лешего, так и живут среди нас, но мы не всегда их видим.

Интеллектуальная культура тех сотен тысяч лет,  
что пришлось на пору моего отрочества, оставалась,  
в сущности, фольклором. Что было в порядке вещей,  
потому что письменностью племена наши  
не владели: мы писали рунами, понятное дело,  
накладные и магические формулы, но всё это  
было несерьезно, да и знали их немногие.

Письмо, я знаю теперь, есть не запись, но принцип мысли;  
если у племени нет книг / свободы их читать-писать,  
оно так и остается стадом приматов,  
пусть и говорящих, пусть и достигших в духовности  
небывалых высот. В сущности для нас, приматов,  
речь — лишь еще один инструмент  
наподобие отщепы, скребла, точила и рубила...

Различие между приматами говорящими и мыслящими,  
впрочем, сохраняется и на поздних стадиях развития,  
как мы увидим ниже. Можно совсем утратить облик  
человеческий — вообще перестать быть гоминидом,  
но всё еще при этом что-то говорить.

И до этих мыслей дошел я сам, без помощи лешего,  
ибо сыздетства любил задумываться.

( 9 ) Вожди ведали войной и кормили человечинной чертей и богов; мы прогнали их и стали лучше. Штука в том, что когда у племени нет вождя, у него нет общего “мы”, лишь отдельные “я”, и каннибализм постепенно сходит на нет. Начался золотой век.

Гуманистическая революция совершилась незаметно: среди приматов распространилось понимание, что можно без вечной борьбы, что сотрудничество, терпимость и уважение приносят больше.

Мы съели питекантропов. Мы съели неандертальцев. Теперь мы едим друг друга. А так ведь просто остановиться и осознать преимущество гуманизма. Прогнать вождей. Научиться слышать друг друга. Понять, что “племени” нет, есть люди.

Интересно, что как раз поняв это, и в тот же момент, мы перестали быть приматами и стали людьми.

Люди отличаются особливостью от стадных существ; особости, пересекаясь с другими, рожают общее: религию, философию, науку, искусства. К тому же,

мне уже стукнуло семнадцать, на дворе стоял полный  
феодализм, пришла пора задуматься о выборе пути.

Недолго думав, я оседлал кота и поскакал  
в Санкт-Китежбург, чтобы попробовать силы  
на поприще архитектуры.

( 1 ) Честно признаться, за те триллионы квадрильонов, что я провел в подлинном мире, один лишь раз довелось мне проснуться так, что я не захотел засыпать опять, и то было самое счастливое, хотя и самое мимолетное тысячелетие моей жизни. Но последний год этого незабвенного миллениума стоил, безусловно, всех остальных. Я вспоминаю его, однако, не без печали. Потому что за ним открылась такая грустная вечность, что я дорого дал бы за то, чтоб ее забыть. Но если бы я не пережил ее, то никогда бы не узнал, что такое секретная книжка. Впрочем, обо всем по порядку.

Я был, вообще-то, равнодушен к международной политике подлинного мира: я занимался архитектурой. Десяток веков я так был поглощен творчеством, что и думать забыл, кто я, где я и почему именно я. Однако в конце 84-го в подлинном мире начали происходить непонятные события, и по двум причинам мне пришлось их заметить.

Во-первых, в тот год меня назначили Хранителем Печати.

Полномочий у меня никаких не было; в сущности, я должен был только записывать общие решения и, хорошенько на нее подышав, прилагать Печать. Однако мне приходилось, время от времени, исполнять представительские функции — вести переговоры, например, с упырями, вурдалаками, демонами, нацгулами, истазийцами, циклопами, лилипутами и т. д. Делегаций принимал, бывало, по три толпы за день. Власть, к тому же, ко многому обязывает. Для людей и прочих существ, особенно из свободного мира, я стал авторитетом; они хотели знать мое мнение по разным вопросам. У меня, как правило, никакого мнения не было, и, чтобы не запятнать честь СКБ и моей должности, я решил на всякий случай иметь позицию обо всем. Так я стал задумываться поглубже и почаще, в том числе о мировых проблемах.

Во-вторых потому, что я влюбился в океанку.

*Я люблю, сказала И, чай пить, сигареты курить  
и книжки читать. Потом подумала и добавила:  
А вот Океанию я совсем не люблю.*

Простая девочка, ничего особенного. Ну, разве что, умная.

Но она смотрела на меня так, будто видит во мне

что-то такое, чего я не вижу в себе сам,  
что-то самое главное и важное для меня самого;  
она была без ума от Стёпы и Александра Петровича,  
моего кота и голубя, а мы были без ума от нее.  
Как будто ее не хватало, чтобы мы стали целым.

Она была дочерью посольских работников Океании,  
но, как человек вменяемый, хотела остаться в СКб,  
однако боялась навлечь беду на родителей.  
Те, в отличие от дочери, были верными патриотами  
своего концлагеря. Просто сбежать было нельзя.

Но всё безумно осложнилось после неожиданной победы  
хоббитов над Сауроном. Орки, пещерные тролли  
и нацгулы провалились под землю, что привело  
к необратимым демографическим переменам в аду.  
Ад к тому времени и без того был перенаселен,  
потому что грешников развелось слишком много,  
и места в аду не хватило бы, даже если бы можно  
было складывать грешников и орков штабелями;  
война же не имела смысла, ибо демоны и нацгулы,  
как известно, бессмертны. И для святого СКб,  
стоявшего аккурат над адом, это имело следствия,  
ибо демоны и грешники, не выдержав натиска,  
полезли наверх, прямо на нас. И их было не много,  
но слишком много, и даже при всем желании  
мы не смогли бы ассимилировать этих, так сказать,

мигрантов, сообщить их свою нравственную, общественную и политическую культуру.

К тому же, Барад-дур уже не уравнивал Остазию, а в сравнении с ней, как утверждали знающие люди, Океания была попросту цветником гуманизма. Это не помешало им заключить союз и расправиться с Атлантидой. Персонажи этой книжки могли также читать у Оруэлла о сокрушительном поражении, которое потерпели войска Евразии в Африке. Однако У. Смит, чьи мемуары Оруэлл переводил, жил в тоталитарной Океании, где свирепствовала цензура, и ничего не знал о том, что творилось тогда в Шире, Атлантиде, Асгарде и Галактическом Союзе. У нас цензуры не было, никто не указывал нам, как рабским жителям прочих земель, что нам читать, а что читать нельзя, и потому мы знали всю правду, хотя и не знали всего и не понимали того, что знали. Что не помешало уразуметь, что обреченная Евразия была крайне важна для выживания свободного мира. Монструозная, как Океания и Остазия, она связывала их щупальца, но однако недостаточно была мощна, чтобы поработить Ганзу, Шир, Византию и Асгард. Сдерживая натиск Океании и Остазии с запада и юга, она обуздывала Упырию и Вурдалакс с востока и, у наших границ, отвлекала Ордыбазарорду на себя. Орки же, несъедобные для мертвяков Вестероса,

не давали им проползти мимо Барад-дура; Евразия, находившаяся в тактическом альянсе с Мордором, можно сказать, что спасала мир от страшного конца. Многообразие уродов, их вечная война всех со всеми, позволяло существовать тому, что имело смысл. И эта прекрасная эпоха подошла к концу. Не осталось в истории складочек, чтобы спрятаться.

Но геополитика, всё же, была для нас абсолютной ерундой в сравнении с геотектоникой. Наш город был основан — бродячим китайским философом в древнее время — на Уральских фьордах у самого Ледовитого моря. Вокруг были тундры и болота, и строиться мы могли в единственно мыслимом направлении: вверх. Но поскольку строительный материал брался из горных пород, чем более мы устремлялись ввысь, тем более зыбки и непрочны были наши основы. СКб словно парил в пустоте, между небом и землей. Это не имело большого значения, пока структуры сводчатого фундамента опирались на толщи льда — вечную мерзлоту севера. Но теперь, когда их разрыхляли ползущие грешники, перед самым прекрасным городом в истории подлинного мира замаячила перспектива сверзиться прямо в ад. И мы знали, что это неминуемо произойдет, если прежде нас не уничтожит Остазия и не сметут выползшие из ада демоны.

Что значат, впрочем, тревоги мира, если что-то грозит тем, кто близок тебе и дорог? В конце концов, ты не единственный эльф Санкт-Китежбурга — другие придумают, как справиться с общей бедой. А с личными бедствиями ты остаешься один на один, ты одинок и беззащитен, ты боишься, что будет нужно что-то сделать, и ты не сможешь понять — что. И что, может быть, ничего сделать будет нельзя. Каждый день она приходила ко мне после уроков, и каждый вечер возвращалась в свой филиал ада, где могло произойти всё. Океания, тут Оруэлл точен, и правда была чудовищна. Она как раз дописывала свою диссертацию и, так или иначе, перемены были неизбежны. О нашей связи было известно, если не считать моего кота и Александра Петровича, только Пушкину, Ерофееву и соседу Василию, наркоману и барыге (он не был наркодилером, он был просто торчком, но приторговывал), а даже они, люди более умные и опытные, ничего не могли нам посоветовать.

Ситуация не то чтобы была безвыходной, но выхода пока что не было видно; и в этом была надежда. Что выхода не видно пока.

В конце концов, все наши враги — орки, упыри и т. д. — были рабами рабов, и у них не было ничего

кроме подчинения и безумного фанатизма.  
А мы были свободными homo sapiensами,  
у нас была демократия и либерализм;  
мы могли бы поэтому что-нибудь да придумать,  
в том числе про жуткие личные сложности.  
Ну, может быть, не прямо сейчас.

АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ. Дорогая И! Много дней  
я думал, что делать, и пришел к выводу,  
что лучше вообще ничего не делать!  
Всё равно никакого толку! А то еще будет хуже!  
Главное, я понял, это чтобы быть начеку —  
и что-то совершить в нужный момент!  
Но пока что вообще невозможно понять — что!  
ИЦПТА ЫБШАННАТАННЫБЕР. *(Звонко смеется.)*  
Всех победим! Ура! Купим дудочку  
и поедем в Псков!

По паспорту я был старше на тысячу лет, а на самом деле,  
в том сне, согласно данной версии моих мемуаров,  
мне было очень много миллионов, ведь до нашей  
встречи я был амёбом, потом псевдозухием и т. д.  
Океанцы не были, в отличие от нас, бессмертны,  
но время под Луной останавливалось и для них.  
Пока в прочих регионах подлинного мира шел год,  
у нас проходила минута. А иногда наоборот:  
там миновал день, а у нас — насыщенное событиями  
десятилетие. Так или иначе, разница в возрасте

была непринципиальна: штука в том, что, будучи неспособен к систематическому образованию, я вот уже тысячу лет, с тех пор как поступил знаменитое Архитектурное ПТУ им. Монферрана, оставался на второй год, и хотя все мои сверстники давно уже стали 1000-летними пердунами, я по-прежнему был молод и свеж — мне всё еще было семнадцать. К тому же, я не сидел сложа руки. Кто мог бы сравниться со мной по части памятников Смыслу Жизни; по этой части я был специалист.

И хотя мои памятники (я успел поставить около пятисот) были понятны не всем, немалая часть горожан СКБ находила их полезными и даже необходимыми — это был как бы наш общий язык, на котором мы говорили о космосе, мире, свободе... Говорили, потому что я выражал в камне не только мои собственные мысли, но и мысли других людей. Впрочем, в силу неопределенности моего статуса, всегда в моих успехах было что-то двусмысленное. Подрабатывал я грузчиком.

Так или иначе, пока не завелась И, то было звуками никакого языка, словами, сказанными в пустоту, никем и никому. Но она любила меня и то, что я делаю; теперь у этих слов был смысл.

К тому же, мое “я” тоже было суммой произвольных слов, интенций и историй; слов и звуков о себе, ни о чем, у которых, без общего языка, не может быть смысла. Когда является то, что соединяет эти переменные, они становятся реальны, мы начинаем существовать. Смысл слов виден только в пересечении значений; я отражался в ее глазах и был чем-то. Прочее время — как будто сон: может быть про меня, а может быть не про меня. Она делала реальным и меня, и то, ради чего я жил; но она же делала это нереальным.

Зная теперь разницу между “я есть” и “меня нет”, о которой говорит любовь, я если и не понимал, то чувствовал, как легко это потерять. Всё, что я имел, не имело значения в сравнении с тем, что дома меня ждал счастливый смех счастливой девочки (у нее был счастливый роман с моим котом).

Этот смех был исходной точкой, прочее — следствием.

В беспредельной бессмысленной пустоте хаоса вариантов секретной книжки возник мой подлинный мир. И мне хотелось верить, что это не просто так. Что это действительно существует и не может быть стерто бесследно. Но от “хотелось бы верить” до веры, знания и уверенности в нем — долгий путь.

Словно бы в нашей комнате звучала музыка для квартета, немислимая без нас, но мы без нее тоже, причем все, были ничем. И был дикий какой-то абсурд в том, что мы можем ее потерять. Мы уже не были ничем, мы были чем-то; но то, что делало нас реальными, становилось всё более нереальным.

Потому что — по крайней мере для нас — основной смысл золотого века был в том, что мы жили чем-то своим, забыв обо всём остальном. В другие времена таких людей не любят, ибо они игнорируют важное. Не сражаются с плохим во имя хорошего. Но тогда плохого, в сущности, не было. И потому, наверное, мы не смогли заметить, как оно началось.

Но какое счастье — простые вещи, когда можно забыть обо всем остальном. Ночью с кружкой чая пойти на остановку, курить сигареты, ожидая ту, что вот-вот должна приехать, в пределах 45 мин. Дочитав книжку, нечаянно заснуть, уронив голову на любимого кота. Купить бутылку вина, чтобы понять пластинку Баха. События, не имеющие последствий. Однако потом, когда время пройдет, мы с усилием вспомним их, чтобы сказать: да, золотой век состоял из них. Это было главным, остальное было ерундой.

Важно то, что комната, в которой мы были счастливы,  
была одной из миллиона маленьких комнат и домов  
большого белого города на высоком берегу  
Ледовитого моря. Жизнь людей и животных,  
там обитавших, тоже состояла из простых вещей.

И наша жизнь была только частью большого чуда,  
а оно жило только этими малыми чудесами,  
простыми, как наша счастливая жизнь.

[...]



knjka 2.4.2

© [open secret gpl](#) && [π](#)  
[secretcode.gitlab.io](#)

image credit: [eso](#)